

...К Трунову он (солдат Гневывшев) относился доверительно: подкупали очки, расколотые в двух местах и так и не починенные. А может, потому, что за две недели перед тем как выехать на фронт, перешивал взводному шинель из солдатской в офицерскую и тут успел приглядеться к своему командиру. В минуту отдыха он подсаживался на край нар спиной к спине лейтенанта и молчал, покуривая. Он курил, глядя в землю и покашливая, и Трунову казалось, что солдат хотел сказать что-то и все сдерживался, все не решался заговорить. Раз повернулся к нему Трунов и, похлопав по спине, спросил:

— Ну, как, Гневывшев, письма из дому пишут?

Это был традиционный вопрос командира к подчиненному. Он сам собой задавался, если разговора начать было не с чего.

— Но, — ответил солдат.

— Дома жена, дети есть?

— А как же, — сказал он не сразу, словно сам спросил: — как же без этого?

— Все, значит, в порядке?

— Да в порядке-то в порядке. Что может стрястись? Как у всех. — Слышалось, что солдат думает сейчас не о том, и Трунов спросил:

— Вот ты все что-то молчишь, вроде тоскуешь. Это так?

— Да кто же нынче не тоскует? — ответил он, всем корпусом повернувшись к Трунову, и глянул на него желтыми глазами, слепо глянул, Трунов сразу и не понял, отчего слепо, и лишь после разобрался: слепо-то оттого, что очень уж малы были зрачки в них, такие маленькие — как прокол игольный. Трунову тогда подумалось, что вот как человек не хочет глянуть на солдатчину, чужую ему, вот как живет он всем оставленным дома, как надоела ему эта затянувшаяся война. Она была в ту пору в самом разгаре, и если сравнить ее с костром, то все подбрасывались и подбрасывались в него поленья, котел парил, кружилась вода, а не закипала, кружилась, ждала пару, и с ним, новым, начнет плескаться, начнет заливать огонь. И вскипит, и огонь зальет, и все пойдет на убыль. Пока костер войны полыхал во всю силу, и в нем горели надежды на спасение, на то, выживешь ли, или чья-то рука швырнет тебя в пламя, и ты вспыхнешь и испепелишься. Трунов думал: видно, этот солдат за тысячи верст от пламени войны подсушил себя, изготовился сгореть — на нем это было заметнее, чем на других ребятах взвода. Был он старше многих, ходил вялой походкой, забывчиво курил до самых пальцев, обжигая их.

— Что же тебя тосковать-то заставляет, если дома все в порядке? — спрашивал Трунов.

— Да то же самое, что и тебя, лейтенант, — отвечал он и улыбался едва заметно.

— Что же все-таки?

— А ты не думаешь, что умрешь?

— На фронте все случается.

— А я умру, лейтенант, убит буду. Это я чувю всем нутром. Не думай, что трушу. Не-е-ет. Ты так не думай, лейтенант, а просто знаю, что убьют, и все.

— Да как это тебе втемяшилось думать так? Кто из нас может знать о том? — повысил голос Трунов.

— Я до самой до Оби — ничего не чувял, и в лодку сел, и по воде плыл — ничего. А как ступил на берег, так не могу повернуться, чтобы глянуть на своих, на тот берег-то. Не могу, и все, и так и не глянул, так скорее за угол зашел, улочкой побежал, не оглянулся — там сзади-то смерть шагала за мной, так шагах в двадцати: потом уж я попривыкнул к шагу ее и оглядывался, она как-то вся таяла от взгляда, не любит, чтобы на нее засматривались. Ты бровками дергаешь, лейтенант, ну и дергай, ну и не верь. Я тебе не сказку рассказываю. Теперь она не ходит за мной, приучила к себе, и хватит. Ну что же, умру. Не я первый, не я последний.

— Полно-ка, Гневышев, ерунду плести, — сказал Трунов тоном утешения, деланно сказал, по должности, а сам ждал, что скажет тот еще.

— Тебе одному сказал. Человек ты образованный. Материшься вон как неумело, — продолжал он, — думаю, легче тебе понять, отчего у меня грудь в табаке, пилотка разъехалась, шинелишка черт знает как сидит, ем не чисто. Ну, повоюю, повоюю еще, не сразу же приду и хлоп тебя. А тебе скажу такое, — склонился он к самому уху Трунова, — не жалея меня, не приглядывайся. Я сказал тебе не затем, чтобы жалеть. Не-е-ет.

— Хватит, Гневышев, ты нас всех похоронишь, а сам цел останешься. Что с тобой? Не хитришь ли? Да что за хитрость — хоронить себя заживо? — проговорил Трунов, как бы размышляя, и увидел, как Гневышев закачал головой и вроде

уже раскаивался, что поведал свое предчувствие, и прутиком зарисовал по земле, буркнув:

— Я в четвертый раз туда иду. По четвертому кругу.

— В четвертый! И такие разговорчики? — позавидовал, удивился и возмутился вместе Трунов, отходя от солдата.

* * *

К фронту, к пеклу того года, о котором уже говорила вся земля, подбирались они как-то исподволь. Под Москвой простояли полмесяца, под Тулой запнулись дня на два, потому что где-то задерживался хлеб. Солдаты ворчали. Командир полка то и дело вызывал к себе начпрода и, видимо, пробрал его порядком, и тот, явно для отвода глаз, направил Трунова просить хлеба в городе. Кто же в войну так просто хлебом разбрасывается? Толкнули его, случайного и вовсе непробойного человека, чтобы тем временем хлеб свой поджидать: он был на подходе. Хоть молод был Трунов, но так и понял приказ. Он поглядел, кого бы взять с собой из солдат, на глаза попался Гневышев, и он приказал ему собираться. Прихватив вещмешок, солдат враскачку пошагал к машине, и они поехали.

Трунов обежал полдесятка хлебных учреждений, убеждал, что полк голодный, просил выручить, а там уж сполна рассчитаются и даже лишку прибросят, потому что через день у них всего будет навалом. На лейтенанта глядели с улыбкой, пожимали плечами, отсылали в другую организацию, а один дядька сказал:

— Над вами подшутили, товарищ лейтенант.

Гневышев то с лейтенантом вместе заходил к начальству, то оставался в коридоре или в машине и нужен был ровно столько, если бы его вовсе не было. Трунов уже решил возвращаться. Гневышева у машины не было. Шофер погудел многократно, сбежал в соседний магазинишко, в столовую, на почту — не нашел. Трунова охватила печаль — солдата проворонил. Такая печаль тронула его, что он и про хлеб забыл. Тотчас они махнули на станцию — там все углы обсмотрели, вдоль состава раза три пробежали, все вагонные тамбуры оглядели — солдата не нашли. Трунов почернел от беды, сел рядом с шофером и голову свою руками охватил, браня себя: ворона, хлеба не добыл и солдата проворонил. Но тут до слуха долетел тихий крадущийся звон колокола, и Трунову пришло нелепое предположение: да не хоронить ли себя пошел Гневышев? Трунов сам не понимал, как эта мысль могла прийти в голову — не Богу ли помолиться пошел солдат перед фронтом. Может, не все такие, как он, Трунов, проживший короткую жизнь без Бога.

— Давай-ка жми к церкви, — приказал он шоферу, — может, там он, подлец.

Гневышев стоял на паперти и нахлобучивал разношенную пилотку. Трунов тотчас подбежал к нему, хотел за воротник схватить и встряхнуть, как мешок, — тот глянул на него желтыми немигающими глазами.

— Удрать вздумал! — заорал Трунов и изматерился.

Гневышев махнул рукой и брезгливо сморщился. Трунов посадил Гневышева в кабину, сам в кузов забрался. Они проскочили несколько деревень и остановились у колодца. Гневышев оторвался от цепи, вытер рукавом губы и пробормотал:

— Какое время... Свечи не достанешь.

— Ты что! И вправду ходил молиться? — спросил Трунов.

— Я за себя хотел свечку поставить. Я в ее, в церкву-то, за жизнь ногой не ступал. Тут надо.

— Крайность? — все еще косился Трунов на Гневышева. — А как не нашли бы тебя, куда бы ты, раб, двинул?

— Я бы ране вас к полку вернулся. Вон какая прорва машин идет. А свечку поставить надо было. Я там еще, когда от берега отходил, так почувал, что река эта — грань моя, я тогда сразу и подумал: свечку где бы за себя поставить...

Трунов был молод и мало знал людей, иных и замечать не хотел. Война на них открыла глаза. В каком же мире жил Гневышев, если о свечке задумался? Зачем ему свечка, что она может открыть, кого и как она может утешить!

— Душа просит свечку, и все тут, — заговорил Гневышев, словно подслушал размышления лейтенанта. — Думаю, поставлю, и во мне поворотится, смягчится, сгладится что-то, и я обрету ровность. Что же я мучиться-то буду. Мне ровность нужна, особо сейчас, когда на фронт еду. Мне надо какую-то шишку сшибить с сердца.

— Ты раньше в комсомоле был, Гневышев? — спросил Трунов зачем-то.

Солдат поглядел на него отчужденно и сказал как о чем-то самом обыкновенном:

— Как же, бывал. Потом как-то с годами и выбыл. Я и в ем что-то искал. И нашел вроде. Ну, вроде заглянул за гору какую. Славно так, хорошо было, и парни хорошие собрались. Ты вот помалу привыкаешь ругаться, а мы в ем отвыкали. И креститься отвыкли, не то что верить в Бога, и сейчас себе не сумею креста на грудь наложить — забылось. Дай балалайку, я с завязанными глазами сыграю, а перекреститься — нет, не получится.

— А свечка? — спросил Трунов.

— Не в свече дело, говорю, — сказал Гневышев. — Свеча — это, может, первое, что осенило... Ну, лучше высказать не могу, — махнул Гневышев рукой и пошагал в кабину.

* * *

За рекой фронт уже чуялся. Не было слышно ни орудийного гула, ни отдельных выстрелов, а было непрерывное фыркание машин, упрямо лезших на подъемчик, да чавканье ботинок, да тихий осторожный говор людей, едущих туда и бредущих по скользким обочинам дороги. Чуялось, что если не за двумя-тремя вот такими угорчиками, то за пятью была передовая. Другие машины спускались с подъемчика навстречу, грохоча и поскрипывая пустыми кузовами, в них сидели то один, то два солдата, с забинтованными головами и руками, легко раненные шли пешие, и по белым еще чистым повязкам тоже понималось, что бои шли где-то рядом. Казалось, что раненные были довольны собой и даже веселы. Один подмигнул Гневышеву и, махнув белой рукой, крикнул:

— Езжай не оглядывайся, там тебя поджидают.

Гневышев помахал и ему, и все следил за машинами и людьми, возвращающимися с передовой и, потрогав Трунова за локоть, сказал:

— Так бы вот ранило, и хорошо.

— Хорошо бы, да, — сказал и Трунов.

— Нет, скажи, лейтенант, — насупив брови и блуждая глазами, спросил Гневышев. — Как это понять: жили люди, землю пахали, кормились, рожали детишек — и бах, давай железом резать друг друга? А? Это зачем кормились, зачем рожали?

— А если это враг? — спросил Трунов. — Если он придет да семью твою прирежет?

Трунов понимал, что разговор такой не ко времени и не к месту. Люди ушли как бы в себя, и отдельные выкрики, команды были невольные и вовсе не нужные. И разговор этот с Гневышевым должен тоже погаснуть. Но солдат поправил за спиной карабин и продолжал:

— Но я же ведь не о том. Я о том — что же такое враг? Отчего сила такая за этим словом? Может, эта волынка вся по глупости нашей. По нашему ничтожеству. Мы тут воюем, а миру-то в большую и в малую сторону конца нет. Мы над муравьями смеемся — дерутся, грызутся, зачем им грызться? А кто-то из того большого миру над нами потешается: глядите, ползут в каких-то железных скорлупах, дымок пускают, соринки щекотливые в воздух пыряют, руку подставил этот великан, а в нее соринки тычутся, то есть наши страшные снаряды. И ему это — муравьиная драка, не боле: вишь, копошатся, вишь, грызутся, дураки, только мы, великаны, делаем умное дело. Так они думают о себе и забывают, что над ними есть еще больший мир.

— Ну, повез, — сказал лейтенант и отмахнулся, но и прихватил себя на том, что и он думал так, думал о большом и малом мире, и с этой-то линии величия и бесконечности как тщетны и смешны потуги людей что-то сделать и изменить. В пламени-то Вселенной, в огнях бесконечных сколько червячно и ничтожно это дело — война. И если ты пришел в этот мир, то главное — как понимать мир, главное — твой гнев и прозрение и, конечно, любовь. Почему люди вместо войны не найдут то главное, что сделало бы прекраснее трагически малое время жизни, равное мгновению. В каком-то храме бы пребывать, какие-то свечи зажигать, да вот она, свечка-то Гневышева. И при свете их твердить — люблю, люблю, люблю. И любить бы трепетно, высоко, божественно, пить бы этот нектар мгновения, парить бы в радости, мотылек земли, человек.